

Михаил БАРУ

## ЛЕГЕНДЫ ЧЕРНЫХ ЛИСТАТЕЛЕЙ

Почему-то о посмертной славе я почти никогда не думаю. Никогда мне в мыслях не представляются мои портреты с пририсованными усами в учебниках по литературе для средней школы, никогда я не вижу мысленным взором ни ученика, проклиняющего меня за то, что ему к завтрашнему уроку нужно выучить наизусть миниатюру, состоящую из одного предложения на десять строчек, ни юношу бледного со взором горящим, читающего мои стихи избраннице своего сердца, ни саму избранницу, из глаз которой выкатываются две преогромных сладких слезы, ни ученого, получившего докторскую степень в филологии за исследование моих текстов. Нет, перед моими глазами встает иная картина – огромное, в полнеба, умирающее красное солнце, заледеневшая планета, с которой улетает в другую галактику последний корабль и командир, старый, обветренный, как марсианские скалы, на рукаве которого три... нет, четыре нашивки за каждую отраженную метеоритную атаку, говорит бортинженеру:

– Вася, ты все скачал из всемирного информатория?

– Все, Степаныч, все. Давай уже, включай зажигание, а то нас сейчас снегом занесет.

– Вася, твою... я тебя последний раз спрашиваю – ты все скачал? Ты скачал все толстые литературные журналы начала двадцать первого века?

– Степаныч, да заманал ты своими журналами. Ну что нам – читать, что ли, их до самой Проксимы Центавра? Мы же в анабиозе будем лежать и спать без задних ног. Нахрена нам твои журналы?

– Много рассуждаешь, салага. Поглотаешь межзвездной пыли с мое – тогда и поймешь. В анабиозе он будет лежать... Бессонницу еще никто не отменял. Давай, скачивай журналы «Волгу», «Знамя» и «Арион». Про «Новую Юность» не забудь. Читал я там одного...

\*\*\*

Лет через пятьдесят, а то и раньше, все печатные и все рукописные книги, все папирусы и даже все глиняные таблички с клинописью оцифруют, и общественные библиотеки станут не нужны. Про домашние и говорить нечего. В музеях, конечно, останутся разные раритеты в переплетах из телячьей кожи с перламутровыми инкрустациями, а так нет. Станут библиотеки уничтожать. Конечно, костры из книг во дворах жечь не будут, но придумают какую-нибудь тонкую технологию, чтобы превращать старые книги во что-нибудь полезное вроде скамеек или торфяных горшков для рассады. Перед тем, как отправить книги на переработку, будут тайно проникать в библиотеки черные листатели и листать все книги подряд в поисках забытых там записок, писем, бумажных купюр, ресторанных счетов, билетов в театр, счастливых трамвайных билетов, засушенных цветов, четырехлистных клеверов, фотографий, негативов, газетных вырезок, карт, на которых крестиками указаны клады, предсмертных записок, рисунков и даже прихлопнутых при закрывании книг комаров. Все это будет представлять антикварную ценность и будет продаваться за большие деньги на аукционах. К примеру, какая-нибудь коллекция счастливых трамвайных билетов времен Брежнева или Андропова. Если бы я умел писать романы, то написал бы роман об этих людях – аллергиях и астматиках, вечно кашляющих от книжной пыли, с вечно черными от

типографской краски пальцами, рассказывающих друг другу легенды о найденных письмах Наполеона к Жозефине в самой обычной советской книге о вкусной и здоровой пище, или о черно-белых негативах с портретами первых римских императоров, выпавших из ветхого немецкого журнала по химии за восемьсот девяносто пятый год, или счет, который подали Стиве Облонскому после обеда с Левиным в ресторане «Англия»... Впрочем, это уже продолжение первого романа, которое будет называться «Легенды черных листателей».

\*\*\*

В пятницу лучше ложиться спать попозже, чтобы в субботу утром, часов в семь, не вскакивать по привычке, как оловянный солдатик, а спать и видеть во сне, как ты проезжаешь это время на скором поезде, а там, на этом полустанке, все снегом занесено, ярко горят безжалостные лампы дневного света и на платформе стоят заспанные продрогшие люди в тонких городских пальто с ноутбуками и передают друг другу бумаги. И ложишься, и просыпаешься в четыре утра, и никак не можешь заснуть опять, и смотришь в окно на снежную бурю, которая из последних сил покрывает и никак не может покрыть мглою светящееся городское небо над головой, на крутящиеся снежные вихри, на засыпанную снегом до самого края луну, на занесенную снегом кровлю соседнего дома, на запоздалого путника на трамвайной остановке – и кружке, которая вnutри тебя шепчет и шепчет «выпьем с горя», отвечаешь: «Выпьем. Обязательно».

\*\*\*

Можно прочесть множество исторических работ о нашем времени, можно прочесть дневники, записки, романы и повести, можно посмотреть документальные и художественные фильмы, а можно просто набрать в поисковой строке Яндекса «как учит нас» и первым, что выпадет, будет «как учит нас господь молиться, если мы желаем что-то получить», а вторым «как учит нас коммунистическая партия».

\*\*\*

...И вот уже к килю фрегата приклеены шпангоуты, уже установлены пиллерсы и бимсы, рейками и грушевым шпоном обшит корпус, медными гвоздями прибит бархоут, и можно приступать к палубе – напилить палубных досок толщиной не больше миллиметра и шириной пять, просверлить в них тысячу пятьдесят шесть отверстий диаметром три десятых миллиметра, взять тростник или бамбук, расщепить его на волокна, волокна протащить через калибровочную доску с отверстием... и тут жена велит сходить в магазин за луком, картошкой и подсолнечным маслом, потому что все кончилось еще два дня назад... в три десятых миллиметра и только потом, когда просверленные палубные доски приклеены к палубному настилу из тонкой фанеры, которая приклеена к бимсам... и проверить у сына геометрию или физику, не говоря уже о том, чтобы сходить на родительское собрание и выяснить, наконец, почему у него второй год сплошные тройки по русскому языку и... вставлять, вставлять и вставлять эти калиброванные волокна в тысячу пятьдесят шесть отверстий диаметром в три десятых миллиметра, чтобы за два или три месяца ежедневной работы по вечерам и ночью управиться с палубой и... вспомнить, когда она была в последний раз в театре невозможно вовсе не по причине склероза, а потому, что... самое сложное в фал-кнехтах – это фрезеровка пазов под шкивы миллиметровой фрезой на настольном немецком фрезерном станке, который стоил почти половину так и не купленной шубы жены, хотя она об этом и не узнала, а если узнает, то... спи со своим фрегатом, целуйся с ним, пусть он рождает тебе детей, делай с ним что хочешь, и эти фал-кнехты можешь засунуть себе знаешь куда, а моих сил больше нет, так

и знай, что... шкивы надо выточить из латуни на токарном станке, сделанном из электрической дрели, а потом пилкой для ногтей, которую она уже купила себе новую... потому что я женщина, а не какая-нибудь бом-брам-стенга, которую ты выпиливаешь и оглаживаешь третью неделю ты на себя-то посмотри у тебя уже вся борода седая, а ты все в кораблики, тоже мне Кутузов или кто у вас там, ненормальных, одноглазый... одного такелажа, не считая мачт, парусов, палубных надстроек и пушек года на три или даже на четыре работы, если каждый день по вечерам, ночью... и сына заразил все дети как дети, а вы оба... всю мою молодость я провела между постройкой брига и фрегата... у меня вместо шубы фрезерный станок, с которого ты моим феном сдуваешь опилки... каждый парус, каждый несчастный фор-трюмсель размером с почтовую марку полит моими горьким слезами... Марш ужинать, сто котлет вам в глотки! Марш ужинать, я сказала, и разрази меня гром, если я еще хоть раз подогрею пюре!

\*\*\*

Дождь мелкий, холодный и колючий. Искусственным цветам хоть бы хны – они только жирнее блестят: ярко-розовые, желтые, синие флоксы, белые лилии и невыносимо красные розы.

...большой памятник черного гранита видно издалека. На нем строгими золотыми буквами написано «Чердак Моисей Григорьевич». Сразу в памяти всплывает цитата из записных книжек Чехова: «Нет такого предмета, который не подошел бы еврею для фамилии». Потом подходишь ближе и видишь, что под этим памятником лежит и его жена Розалия Григорьевна, прожившая девяносто четыре года и пережившая мужа на шестнадцать лет, и их сын, Александр Чердак, про которого написано «погиб в боях за Родину на Волховском фронте». В сорок втором году погиб, в декабре. Двадцати лет отроду. И приписано «От безутешных родителей и родственников». И чеховская цитата куда-то... Из какого-то непонятного любопытства достаешь из кармана телефон и набираешь в поисковой строке «Чердак Моисей Григорьевич», и тут выясняется, что был Моисей Григорьевич почетным сотрудником госбезопасности. С девятнадцатого года служил в ВЧК, дослужился до майора, был начальником строительного отдела ГУЛАГа, а в тридцать восьмом был из НКВД уволен и работал в разных гражданских министерствах – даже начальником планового отдела Главэкскаватора министерства строительного, дорожного и коммунального машиностроения и... идешь себе дальше, не зная что и думать.

...тропинки между могилами узкие, усыпаны еще прошлогодними серыми коричневыми мокрыми листьями, сквозь которые пробиваются на тонких зеленых стеблях голубые колокольчики пролесок. Их посадили внутри оградок, а они мало-помалу вышли за калитки и разбрелись по тропинкам.

...стены склепа розовые, но красили их в последний раз Бог знает когда. Краска местами вспучилась и отвалилась. Там, где не отвалилась, видны надписи, сделанные авторучками, фломастерами или процарапанные чем-то острым. Господи, сделай так, чтобы моя дочь снова была жива. Господи! Помоги стать матерью! Хочу иметь возможность помогать своим друзьям. Не дай Владе кануть в лету. Оля, отпусти! Аня, прилипни! Позволь мне добиться того, что я хочу. Помоги, Господи, продать два участка на поле по достойной цене. Кто все это прочитал – тот сдохнет.

...к памятнику на могиле Люсьена Оливье прислонен венок из пластмассовых лилий, лежит опрокинутая лампадка красного стекла и небольшая пластмассовая тарелка с размокшими от дождя остатками салата в белых майонезных разводах. Миски эти меняют часто. Каждый раз кто-то приносит новый оливье с новым рецептом. На краю миски сидит нахальный воробей и выклевывает из миски слипшиеся красные икринки.

В метре от внушительного гранитного памятника Оливье лежит небольшая надгробная плита из позеленевшего от времени мрамора. На ней написано «Тереза

Оливье». В обычной жизни ее звали просто Таней. Наверное, по созвучию имен. Назвали ее в честь матери, немки, умершей от родильной горячки. Дочь Люсьена Оливье, по отзывам современников, была красавицей, но личная жизнь ее не сложилась. Сватались к ней многие в надежде узнать рецепт знаменитого салата. Этим незадачливых искателей рецепта было видно сразу – более всего они старались понравиться самому Оливье, а самые глупые проговаривались на первом или даже на втором свидании. Впрочем, один раз Таню даже просватали за какого-то уланского ротмистра с преогромными пушистыми усами, душно пахнущими брокаровским одеколоном, но и тот, как только они остались наедине за столиком ресторана «Эрмитаж Оливье», вместо того чтобы говорить невесте комплименты, пристал к ней как банный лист с расспросами про ингредиенты и пропорции. После этого случая бедная Таня зареклась выходить замуж и... меньше чем через год стала женой еврея-аптекаря, которому до рецепта салата не было совершенно никакого дела. Его интересовали только рецепты лекарств. Целыми днями он пропадал в маленькой лаборатории, оборудованной в задней комнате своей аптеки, и изобретал то сиропы от кашля, то порошок от похмелья, то противозачаточные таблетки. Судя по тому, что Таня родила ему пятерых мальчиков и одну девочку, с таблетками у него так ничего и не получилось. Стал он мало-помалу выпивать и через год или два пропил аптеку вместе со всеми порошками, пузырьками и бланками рецептов. Тут Таня и пожалела, что рецепта отцовского салата она не знала. Полоумного аптекаря своего она любила и простила ему даже то, что пропил он большую серебряную салатницу, доставшуюся ей в наследство от отца. Да он долго на этом свете и не задержался – с похмелья выпил какой-то жидкости, оставшейся от опытов с сиропами от кашля, и отдал Богу душу. Осталась Таня одна с шестью детишками...

Дальше следы ее теряются. К семнадцатому году ей было около шестидесяти лет. В интернете писали, что историки нашли в архивах бумаги о том, что работала Тереза Оливье в столовой Наркомпроса подавальщицей с восемнадцатого по двадцатый год, но так ли это на самом деле, никто не знает – мало ли что напишут в интернете. Кто ее хоронил, на чей счет была изготовлена надгробная плита – тоже неизвестно.

Говорят, что недавно у могилы Оливье – подрались две старухи, одновременно принесшие свои миски с салатами к памятнику своего кумира. Та, у которой была в салате докторская колбаса и картошка, здорово помяла ту, которая пришла с мелко нарезанными антоновкой и кинзой.

\*\*\*

Новую книгу всегда ждешь с нетерпением. Даже если она не первая, а десятая. При том, что тексты в ней давно опубликованы в журналах или в сети. Приносишь авторские экземпляры домой, кладешь их перед собой на письменный стол, выпиваешь рюмку коньяку или даже накрываешь стол для праздничного ужина и, наконец, ставишь книгу на полку, к другим своим же книгам. И все. И больше ты никогда ее не откроешь. Она умерла. И часть жизни, связанная с этой книгой, тоже умерла. Если бы не книга, то она, быть может, еще и жила бы, а так... нет. Каждый раз, когда я ставлю книгу на полку, вспоминаю строчки из «Анны Карениной»: «И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла». Понятия не имею, почему мне эти строчки приходят в голову. Я не бог весть какой любитель Толстого вообще и «Анны Карениной» в частности, но... вспыхнула, осветила, затрещала, стала меркнуть и навсегда погасла. Иногда мне кажется, что написанные книги как старые раны – ноют к непогоде. Иногда не ноют, а просто лежат внутри тебя как... камни в почках. Их хорошо бы удалить, чтобы начать жить новой и здоровой жизнью, но они не удаляются. Только вместе с почками. Иногда я так не

думаю. Иногда я вообще не знаю, что думать по этому поводу. Иногда стараюсь не думать, но не получается.

\*\*\*

Пробовал писать в стол. Такие пошли времена, что в стол оно как-то... В конце концов я еще помню времена, когда любой советский человек, не говоря о прозаике или поэте, мог написать в стол хотя бы пару предложений. В столе для этого и ящик был специальный, в котором лежала картонная папка с бязевыми тесемками. Потом эти папки за ненадобностью все выкинули. Кто же мог подумать, что оно все медным тазом... еще и таким огромным. Зря не думали, а теперь и ящики заняты всяким барахлом – валяются в нем старые квитанции, зарядки от давно несуществующих телефонов, чернильные авторучки, в которых давно высохли чернила, и старые телефонные книжки с номерами давно не существующих людей. Да и о чем писать в стол, спрашивается? Полвека, как и двести лет назад, было понятно о чем – про тиранов, которым велено было трепетать, и про падших рабов, которым нужно было мужаться, внимать и восставать. Тираны, как выяснилось, трепетать и не думают, а падших рабов все устраивает. Вовсе они и не собирались мужаться и все остальное. Не внемлют! Видят – и не знают! Впрочем, это уже не Пушкин, а Державин, и адресат у него другой, но какая разница. Никакая. То есть внемлют, но не тем, и вообще в гробу все видали, кроме пива и пельменей. Вот и думай о чем и зачем. Хотя... можно просто положить в ящик стола чистый лист бумаги. Теперь и за чистый лист бумаги можно поймать все то, что полагалось раньше за исписанный, а если положить не один, а пачку...

\*\*\*

...только заснешь – и вдруг проснешься от того, что надел часы наизнанку и время пошло обратно, но не туда, откуда пришло, а совсем в другую сторону, и ты за ним идешь за тридевять земель от своего дивана босиком по тонкому льду, и ноги мерзнут от того, что высунулись из-под одеяла, а в том месте, куда ты за ним пришел, нет ничего и никого – ни родных, ни друзей, ни птиц, ни даже мух или хомяков, а только застывшее навсегда время, и посреди него растет плакучая рябина с пятью или семью тонкими, изогнутыми от боли ветками, которую ты видел в прошлые выходные в ограде скита Никона, что в Новом Иерусалиме, когда приезжал туда на выставку картин младших Брейгелей рассматривать маленьких и очень маленьких голландцев, все эти глиняные горшки, бутылки, бочки, пьяных крестьян на деревенской свадьбе, нарумяненных шлюх, Иоанна Крестителя, проповедующего в пустыне, деревья, кусты, собак, лошадей, зарезанных свиней, кормящих матерей, чумазных детей, ворон, выписанных так тщательно, что по вороньим клювам можно сказать, о чем они каркают и... вы с рябиной говорите, говорите и наговориться не можете. И лет-то рябине всего пять или десять, а она уже все понимает, потому что плакучие быстро взрослеют. И на самом интересном месте разговора ты просыпаешься и видишь на светящемся циферблате часов, что прошло минут пять с того момента, как ты заснул, но в какую сторону прошло – непонятно.

\*\*\*

Июньское утро на Никитском бульваре. Еще нет и одиннадцати, а уже жарко так, что у велосипеда, нарисованного белой краской на проезжей части, начинают искривляться колеса. Перед входом в кафе «Жан Жак», между столиками и венскими стульями, расставленными на тротуаре, ходит щуплая смуглая девушка и подметает. Мешая ей подметать, толчется рядом и нехотя протирает тряпкой столы и стулья долговязый белобрысый официант в длинном фартуке. На бульваре тарыхтит газонокосилка. Пахнет свежескошенной травой, бензином и жареными креветками в

кляре. Мимо кафе медленно проезжает сверкающий на солнце красный кабриолет «БМВ», за рулем которого сидит молодая женщина с золотыми волосами, завитыми в мелкие колечки. Официант поднимает голову от протираемого стола и смотрит на проплывающий мимо него кабриолет взглядом «как провожают пароходы, совсем не так, как...» Вот на этом месте нужно собрать волю в кулак и не написать «Остановись, мгновенье! Ты не столь прекрасно, сколько ты неповторимо», а вместо этого сесть на венский стул, велеть официанту принести холодного белого вина и, разминая пальцами сигарету, которую нельзя закурить, ждать, никуда не торопясь, когда он его принесет. Хотя бы и до второго или даже до третьего пришествия.

\*\*\*

Проснешься ни свет ни заря, полежишь, поворочаешься, да и пойдешь на кухню заваривать чай. Заодно заглянешь на балкон, чтобы полить цветы и сорвать к чаю пару листиков мяты или чабреца, а на балконе давным-давно уже никто не спит. Все подставляют свои листья утреннему солнцу и растут изо всех сил. Особенно огурец, новорожденные листики которого покрыты нежным детским пухом, а тонкий зеленый усик, еще свернутый в тугую спираль, вот-вот развернется. Смотришь на все это и думаешь, что и огурец в цветочном горшке, и помидоры, размером с перепелиные яйца, и мята, и чабрец, и лаванда, и разросшийся плющ создают уют, которого никогда не бывает много. Это совсем не тот уют, который бывает от канареек, котов, женщин или занавесок в цветочек. Это все внешний уют, а не внутренний, который бывает от созерцания крошечных начинающих краснеть помидоров или огурцов размером с мизинец новорожденного<sup>1</sup>. Кроме всего прочего, это еще и крыжовник. И при мысли о крыжовнике начинаешь чувствовать себя помещиком и землевладельцем, Чимшой-Гималайским на своих тридцати тысячах квадратных сантиметров балкона<sup>2</sup>. У тебя, может, и в роду-то не было не то что помещиков, но даже и до приказчиков в каких-нибудь скобяных или москательных лавках никто не поднимался, а все равно... Пусть обедневшим, пусть без крепостных девок, кучеров и бурмистров, а с одним старым ворчливым полуслепым Захаром и наемной кухаркой, у которой вечно пересолены щи и пригорают пироги, но почувствуешь, почувствуешь... и пойдешь и собираться на работу. Мелькнет при этом мысль завести кота, но тут же и пропадет. Какой из него Захар... Кот тебя сам заставит подавать с утра тапки. Нет, кот – это не выход. Совсем.

-----  
<sup>1</sup> Смотришь на этот огурец, которому два или три дня отроду, и видишь его большим, взрослым, лежащим на красивой тарелке с темно-синей и по самому краю золотой каемкой; в старом дубовом бочонке среди таких же огурцов, переложенных смородиновыми листьями, веточками укропа и упругими зубчиками чеснока; мелконарезанным в ледяной окрошке или в ботвинье в шипучем квасе среди раковых шеек и кусков осетрины или севрюги; малосольным, разрезанным вдоль на две половинки и лежащим на блюде рядом с ломтем копченой свиной грудинки и полной рюмкой перцовки; наколотым на вилку и наполовину съеденным рядом с уже опустевшей рюмкой зубровки; маринованным в тарелке мясной солянки среди лоснящихся спинок маслин, ломтика лимона, сметаны, телячьего языка, кружков охотничьих колбасок и сосисок, рядом с графином, который уже меняет официант; в пухлой руке внука, норовящего накормить им кошку, – и думаешь о том, что ухаживать за огурцами легко и приятно, потому как для этого не нужны никакие духи, пирожные эклер с шоколадным кремом, шампанское, походы в ресторан или в театр, разговоры о Ренуаре или о постмодернизме в литературе и вот здесь мы повесим полочку, а здесь будет стоять ваза с цветами вместо разбросанных книг и носков. Достаточно пойти в магазин и купить там пакетик огуречных семян, пакет с землей и горшок побольше, положить семена на мокрую

туалетную бумагу, дожидаться, пока они прорастут, посадить их в горшок, потом протянуть бечевку к потолку, за которую будет цепляться огуречная плеть, и время от времени поливать, трогая перед тем землю пальцем – сырая или нет. Жена, понятное дело, будет смотреть искоса и посмеиваться твоим мыслям, которые она читает, даже если они закопаны на дне горшка с огуречной рассадой. Ну и пусть. В конце концов, духи ты уже купил, а полочку повесишь обязательно. Сказал, что повесишь и повесишь. Не сегодня так завтра. Не завтра так послезавтра. В крайнем случае, на следующей неделе уж точно.

<sup>2</sup> Кур у меня нет, но, проснувшись поутру, помидоры на балконе собираю с тем же чувством, что и яйца.

-----

\*\*\*

И в феврале восемьсот пятьдесят второго года он не умер, а мало-помалу начал поправляться. Стал есть овсяную кашу – сначала на воде, а потом на молоке, потом стал пить некрепкий куриный бульон, потом крепкий, потом неразбавленное красное вино, а в первых числах апреля, несмотря на Великий пост, съел целого цыпленка за один присест и пошел гулять по Никитскому бульвару. Граф Толстой, у которого Николай Васильевич квартировал, перевел дух, перекрестился и даже пригласил на радостях к воскресному обеду Аксаковых с Хомяковым и Шевыревым. Хотел было пригласить за компанию и протоиерея церкви Симеона Столпника на Поварской, в которую Гоголь ходил молиться, но передумал. Побоялся, что начнутся опять разговоры о смирении и благочестии, об аскезе, об отречении от Пушкина, и заменил протоиерея молочным поросенком с гречневой кашей и тремя бутылками отличного бордо.

Только в воскресенье рано утром вдруг выяснилось, что Гоголь пропал. Куда он подевался, не знал даже слуга Семен. Как его ни спрашивали, а он только тарачил заспанные глаза, дышал жареным луком и толком сказать ничего не мог. Вечером лег спать и ночью, как обычно, тонко и жалобно присвистывал носом, а утром... Граф Толстой разослал слуг с записками во все дома, в которые мог бы пойти Гоголь, но его нигде не оказалось. Через день послали с запиской и к частному приставу, а через два и к самому обер-полицмейстеру генерал-майору Лужину, но и те после двух недель упорных поисков и опросов обывателей квартальными только руками развели. Граф Толстой вместе с Аксаковыми, Хомяковым и Шевыревым даже написали прошение в министерство внутренних дел, но оно там застряло у какого-то столоначальника и дальше не продвинулось. Мало ли у нас писателей. Что же теперь – прикажете все бросить и их искать? Один пропал – другой найдется, а то и два сразу объявятся.

Так бы и записали Гоголя в пропавшие без вести, кабы через два с половиной месяца не стали ходить слухи по Московской, а затем и по Тульской губерниям, что объявился, мол, странный барин, останавливающийся на ночлег в уездных гостиницах и постоялых дворах. Вещей у него немного – один потертый кожаный портфель с бумагами, да запасные сапоги на высоких каблуках, которые он связывает бечевкой и носит перекинутыми через плечо. Приедет, спросит комнату с камином, а когда нет камина – а его, как правило, нет в комнатах не только уездных, но и губернских гостиниц, – то и печки ему достаточно. Как ночь придет – так он в номере закроется и давай печь бумагой топить. Достанет из портфеля пачку, разберет на листы, заглянет в каждый, почитает там что-то, шевеля при этом губами и длинным носом, потом разорвет на половинки и бросит в печку. Другой раз откроет портфель, а там всего два или три листика. Тогда велит половому принести хоть какой бумаги – хоть серой оберточной, хоть синей сахарной, хоть старых газет.

Вытащит из портфеля ножницы, нарежет бумагу на аккуратные четвертушки и тоже в печи сожжет. Потом поворошит пепел кочергой. Потом наберет его полные горсти

и растирает между ладонями. Потом сидит, привалившись к печке. Может час сидеть, может два. Лицо пепельными руками закроет и плачет тихонько. На дворе между тем середина лета и без печки дышать нечем. Другие постояльцы жалуются и в двери номера стучат, а он точно каменный – никакого внимания на стук не обращает. На следующее утро умоется, соберет вещички, расплатится и укатит на перекладных в неизвестном направлении. В последний раз видели его уже в Калужской губернии, в Сухиничах, на железнодорожной станции. Садился на поезд, идущий в Киев. Бородатый и худой. Очень худой. Точно последние две недели питался святым духом. С портфелем, но без запасных сапог.

\*\*\*

Памятник русскому уездному городу никто не поставит, а зря. Кабы я был скульптор и архитектор, да в придачу председатель конкурсной комиссии при министерстве памятников и барельефов, непременно организовал бы конкурс на его устройство. Не такой, конечно, монументальный, как тот, что воздвигли тысячелетию России в Великом Новгороде – без шара-державы, креста, ангела и коленопреклоненной женщины в русском национальном костюме, но непременно многоярусный, с горельефами на каждом ярусе.

В первом, самом нижнем ярусе, среди дремучих лесов, грибов, ягод и дикого меда – тихий, робкий, почти первобытный финно-угр – собиратель грибов, ягод, дикого меда, рыболов и охотник. Тут же рядом по одному вятичу, кривичу, древлянину, полянину... короче говоря, все те, кто потом этого тихого и робкого финно-угра частью ассимилировал, а частью просто согнал со своего насиженного места дальше на север в финские болота за линию Маннергейма.

Во втором ярусе – опоясанные дубовыми рублеными стенам и башнями маленькой крепости на холме или на высокой берегу реки – воевода, стрелецкий голова, приказный с вырванным воеводой клоком волос, стрелец, городской казак, драка между ними, пьяные пушкари, стрелецкая жена с ухватом, еще одна стрелецкая жена, ухватившая мужа за пицаль, посадские, попы, которые куда увереннее держат саблю, а не кадило, коровы и свиньи, разгуливающие по главной площади крепости. Куры и гуси, переходящие единственную улицу. Там же и два бронзовых листка. На первом – накладная, то есть опись городского имущества, с перечислением всех пушек, пицалей, фальконетов, чугунных и каменных ядер, свинцовых пуль, пулелеек, зелья, бердышей, протазанов, рогатин, запасов хлеба, проросшего лука, соли, ~~мына~~, сушеных грибов, гречки, бочек с давно протухшей квашеной капустой и пересоленными огурцами, нагольных тулупов, лягушек во рву вокруг крепости, лавок с красным товаром, питейных домов и царевых кабаков. На втором – строчка из царского указа, в котором русским по белому написано: «жить с великим береженьем, денные и ночные сторожи держать крепкие». Вокруг крепости не луга с полевыми цветами, а крымские и казанские татары, ногаи, черемисы, литва, ливонские рыцари, польские жолнеры, летучие гусары, наемники римского кесаря, шведы, самозванцы, казаки, но уже не городовые, а запорожские, беглые крестьяне из армии Болотникова, разинцы...<sup>1</sup>

В третьем ярусе первый городничий – тощий немец в звании секунд-майора, толстый бургомистр, необъятный городской голова с окладистой бородой, запятки проезжающей мимо кареты императрицы или императора с преогромными гайдуками, монументальные купцы с резным блюдом, на котором хлеб-соль, титулярные и надворные советники, уездный предводитель дворянства, уездные дамы и девицы, купеческие жены, драгуны или конные егеря из полка, стоящего в городе, принесенные в подолах купеческих и мещанских жен конные егерята, городской собор, купеческие особняки, первые ученики народных училищ с огромными, вытянутыми от постоянного тасканья ушами, рабочий мыловаренного или кирпичного завода в мыле или

кирпичах, первый немец-аптекарь, неповоротный инвалид со своим шлагбаумом, железная дорога, проходящая мимо, богадельня с десятком стариков и старух, большевик, наклеивающий листовку, первый гимназист, с интересом ее читающий, городской с преогромными усами, хватающий гимназиста за ухо.

В четвертом ярусе еще один большевик, эсер, солдат, пришедший с фронта, дезертир, еще один дезертир, неизвестно как оказавшийся в этих сухопутных местах революционный матрос Балтийского флота с преогромной деревянной кобурой на боку, сумасшедший поэт, чьи стихи печатаются в местной газете, духовой оркестр, играющий в городском саду, развалины старой крепости, в которых собираются рабочие на маевку, гимназисты и гимназистки с красными бантами, испуганные мещане, куры и гуси, стремительно убегающие из-под ног. Убитый городской. Бронзовый листок с поздравительной телеграммой, отбитой вождю мирового пролетариата в связи с его пятидесятилетием. Расстрел офицеров и гимназиста в углу городского сада. Еще один бронзовый листок с меню из общественной столовой, в котором щи из капусты, гороховая каша и морковный чай. Здание уездной ЧК, занимающее старинный двухэтажный купеческий особняк. Председатель уездной ЧК в кожаном реглане, ботинках с обмотками и с наганом в руках. Секретарь уездного комитета партии в таком же кожаном реглане, с таким же наганом в руках, в таких же ботинках с обмотками и с таким же лицом. Разрушенная колокольня.

В пятом ярусе секретарь райкома партии в широком мятом галстуке с огромным узлом, пионерский отряд со знаменем и барабаном, идущий по пыльным улицам. Куры и гуси, убегающие из-под пионерских ног. Обелиск павшим борцам. Кирпичная труба мыловаренного или кирпичного завода. Рабочий мыловаренного или кирпичного завода с бронзовым листком почетной грамоты и орденом на груди. Лейтенант в форме сотрудника ОГПУ. Еще один сотрудник ОГПУ в штатском. Еще два бронзовых листка – один с политическим анекдотом, а другой – «с написанным вручную содержательным доносом». Дом культуры с колоннами. Сумасшедший поэт, чьи стихи печатаются в местной газете. Черная тарелка радио. Еще один бронзовый листок с десятирублевой облигацией государственного внутреннего займа укрепления обороны. Семья уезжающих спецпереселенцев – сидящие на чемоданах папа, мама, девочка и кот у нее на руках. Разрушенная колокольня.

В шестом ярусе новая электростанция, электрические фонари на улицах, духовой оркестр, играющий в городском саду, солдаты, уходящие на фронт. Бронзовый листок с похоронкой. Сгоревший дом. Еще один бронзовый листок с похоронкой. Торчащая печная труба. Пикирующий бомбардировщик. Еще два бронзовых листка с похоронками. Подбитый танк на площади. Еще один сгоревший дом. Разрушенная кирпичная труба то ли мыловаренного, то ли кирпичного завода. Расстрел партизан в углу городского сада. Еще три бронзовых листка с похоронками. Маленькое, могила на двадцать, кладбище с готическими фанерными крестами. Два взорванных дома и развалины дома культуры. Разрушенная колокольня.

В седьмом ярусе развалины, землянки, дети, играющие в ржавом танке на площади, секретарь райкома в гимнастерке с пустым рукавом, заткнутым за офицерский ремень, огороды. Еще огороды. Бронзовый листок с похоронкой, еще один бронзовый листок с похоронкой, кирпичная труба то ли мясокомбината, то ли завода по производству консервированных овощей, переходящее красное знамя Совета министров. Кинотеатр с названием «Родина», дом культуры с колоннами, духовой оркестр, играющий в городском саду, пары танцующих женщин. Памятник вождю мирового пролетариата и трибуна для выступлений у его подножия, первомайская демонстрация трудящихся, куры и гуси, идущие вслед за демонстрантами, остатки стен разобранного на кирпичи городского собора. Разрушенная колокольня.

В восьмом ярусе ларек, еще ларек, обменный пункт, множество бронзовых листов с объявлениями о мгновенных кредитах без отказа и документов, сумасшедший поэт, чьи

стихи печатаются в местной газете, еще один такой же, но женского пола, кирпичная труба остановившегося то ли мясокомбината, то ли завода по производству консервированных овощей, духовой оркестр в городском саду. Отделение Сбербанка в старинном двухэтажном купеческом особняке. Автобус и люди, садящиеся в него, чтобы уехать в большие города на заработки. Развалины крепости, в которых играют дети. Бабушка и дедушка на скамейке. Еще три бабушки на еще одной скамейке. Трехъярусная колокольня с висящими на ней колоколами.

-----  
<sup>1</sup> Этих нужно как-то мелко, как на колонне Траяна, чтобы все уместились хотя бы по одному.  
-----

\*\*\*

Шум леса или ветра никогда не может заполнить тебя всего. Всегда останется место для каких-нибудь мыслей о бренности всего сущего, о вселенской тоске, о везении в любви или о разбегании галактик в результате большого взрыва. Только шум моря заполняет всю голову без остатка, и там почти не остается пустого места, кроме, может быть, крошечного закутка для крика чайки, или для одного бокала ледяного мартини с оливкой, фаршированной пармезаном, или для двух узких черных полосок купальника, которые ты видишь даже не боковым зрением, а спинным мозгом, в который шум еще не проник.

\*\*\*

Если от Дагомыса отъехать в горы по петляющему Батумскому шоссе на Солох-Аул, который так называется потому, что там жили солохи, но не неряшливые нечёсанные женщины и не русалки, как можно было бы подумать, а разведенные, не пожелавшие или не сумевшие второй раз выйти замуж, но сейчас не о них, и тем более не о разведенных и не женившихся во второй раз мужчинах, проживавших чуть выше в горах в селении Бабук-Аул, а о месте, расположенном на полпути до Солох-Аула и которое аборигены называют «корыта».

Место это представляет собой водоскаты, похожие на корыта, образовавшиеся под действием стремительных вод реки Шахе. Вода здесь кипит и пенится на перекатах, наполняет глубокие каменные водоемы из черного и серого песчаника голубой и зеленой холодной водой, в которой плавают желтые с коричневыми прожилками опавшие листья буков, дубов и грабов и купаются отдыхающие, поскольку считается, что купание в корытах приносит удачу в любовных делах, но сейчас не о них. Не об отдыхающих и не об удаче в любовных делах.

За подход к этим корытам и их осмотр, не говоря о купании, нужно заплатить двести рублей с носа. Билет вам не дадут – просто отдайте двести рублей и идите осматривать или даже купаться. Великий комбинатор, собирая с советских граждан деньги на ремонт провала, все же выдавал им билеты, но здесь далеки от этих условностей, да и мы давно не советские граждане, но сейчас не о том, что мы уже не советские граждане. Во-первых, не все, и, во-вторых, во многом еще советские и очень.

На тропе, ведущей к корытам, стоит избушка, в которой сидит древний и сухой, как высохший бук или граб, старик-армянин, покрытый седой щетиной. Можно, если честно, обойти старика вместе с его избушкой метрах в ста выше по течению Шахе, и он не заметит, поскольку очень занят. Во-первых, он курит, и дым выходит из всех его морщин точно из щелей окуриваемого дымом улья, во-вторых, вяжет детские шерстяные носки на годовалого ребенка – полоска белая, полоска синяя, а на белой полоске синие звездочки, и

в-третьих, шевелит губами, считая петли. Я положил ему на стол деньги, а он, продолжая шевелить губами, еле заметным кивком головы показал куда идти.

\*\*\*

Тишина горного ущелья отличается от тишины русского поля, или леса, или лесной опушки как летнее небо от зимнего. У нас тишина робкая, ласковая, почти домашняя, сотканная из лесных шорохов, чириканья, молчания грибов, пения кузнечиков и шмелиного жужжания. Сядь на пенек, достань из рюкзака или даже не доставай, а просто закури и пускай дым к небу, к облакам и жаворонкам – она к тебе подойдет, обнимет, приласкается и укутает. Ты ее только не гони, не разговаривай по телефону, не говори в него Света, как здесь красиво, какие здесь лютики и эти, как их... как жаль, что у нас чисто мужская компания, но как иначе, когда стоишь на номере и вот-вот на тебя вылезет из берлоги медведь с медвежатами...

Другое дело тишина горного ущелья. Она к тебе не подойдет – она гордая. Она стоит неприступной стеной до самых облаков, тревожно шелестит листвой огромных буков и грабов, растущих на склонах ущелья, грохочет быстрой водой на острых каменных перекатах, и где-то там, у вершин, превращается из теплой влажной тишины в ледяное безмолвие. Ты сидишь у ее подножия и уже давно выпил то, что достал из рюкзака, и закурил, а позвонить... не можешь, потому что связи здесь нет, и медведь, который уже залег в берлогу и даже всхрапнул пару раз, теперь, из-за посторонних запахов, проснулся, хлопает спросонок своими крошечными медвежьими глазками и думает – то ли ему встать и... но тогда уже точно не уснуть.

## **В местности Камигата**

*В местности Камигата люди, выходя посмотреть на цветы, берут с собой завтрак в небольшой коробочке. Когда приходит время возвращаться домой, они бросают коробочку на землю и топчутся по ней ногами... Во всех вещах важен их конец.*

Кодекс самурая. Бусидо.

...люди, выходя по весне в лес наломать веток цветущей черемухи, берут с собой пару бутылок водки, бутылку портвейна, дюжину бутылок пива, из расчета по три на брата и четыре про запас, пару килограммов чайной или любительской колбасы со шпиком, две буханки черного, две коробки шпрот или килек в томате, пакет пряников, кулек карамелек, пару бутылок чего-нибудь полусладкого или полусухого и три бутылки лимонада «Буратино» для женщин. И еще пять кило картошки и банку солярки, чтобы можно было развести костер. Когда приходит время возвращаться домой, мужчины или лежат, не двигаясь, или бьют друг друга по лицам. Женщины при этом допивают или полусладкое, или полусухое, или пиво, взятое про запас, едят пряники и карамельки. Допив и доев, они встают и затаптывают еле тлеющий костер с полусырой картошкой. Во всех вещах важен их конец.

...люди, выезжая из Москвы посмотреть в Мелихово на цветущую сирень, на флигель, в котором написана «Чайка», на клумбы, усаженные красными бегониями, фиолетовыми анютиными глазками преогромных размеров и попугайными тюльпанами, на солнечные поляны, усеянные незабудками, на скамейки, засиженные туристами, на замученных и охрипших экскурсоводов, молящих про себя «Милый дедушка, сделай

божецкую милость, возьми меня отсюда домой ...», берут в дорогу пару французских багетов, три коробки с сыром «Бри», банку маслин или оливок, три грозди винограда, упаковку разноцветных шпажек для того, чтобы делать канапе с сыром, бутылку Шардоне, бутылку выдержанного португальского портвейна и потертый том из собрания сочинений Чехова, с которым бродят по дорожкам, читают вслух всей компании «Самое ехидное насекомое в свете есть женский пол», или «Могут ли люди жить на луне, если она существует только ночью, а днем исчезает?», или «А тигры у вас в Греции есть?» и умирают со смеху. Когда приходит время возвращаться домой, садятся в машину, три часа торчат в пробках, кричат «В Москву! В Москву! В Москву!», покупают на заправке большое картонное ведро фруктового мороженого с кусочками дыни и арбуза, съедают его, бросают ведро на землю и топчут его ногами. Во всех вещах важен их конец.

...человек, выходя из дачи посмотреть, не зацвела ли яблоня, берет с собой штыковую лопату, двух или трех детей, жену, тещу, мешок проросшей картошки и идет ее сажать. Собака, которую никто и не собирался брать, идет сама. Когда доходит до конца последней грядки, выпрямляет онемевшую спину, закуривает, выпускает дым, выплевывает изо рта занесенные туда порывом ветра лепестки яблоневого цвета, затаптывает в землю последнюю сморщенную картофелину с отломанными глазками и идет в дом пить пиво, есть куриный суп с молодой крапивой, яичницу с тамбовским окороком, смотреть по телевизору футбол, всхрапывать и просыпаться, когда бегающие за собакой дети хлопают дверями. Во всех вещах важен их конец.

...человек, собираясь полюбоваться цветущей вишней, приглашает даму, заказывает доставку роллов с копченым лососем, морским гребешком, огурцом и авокадо, бутылку белого сливового вина «Акира», букет ирисов и на всякий случай бутылку коньяка. Когда под утро он просыпается от холода и ужасного сушняка, то идет на кухню, долго пьет холодную воду прямо из-под крана, достает из пластиковой коробки и доедает последний, уже успевший засохнуть ролл с огурцом, смотрит в окно на растущую во дворе маленькую, чахлую, но все же цветущую вишню и думает о кризисе среднего возраста. Или о написанной, но не защищенной диссертации. Или о смысле существования, которого, как известно, нет. Или о детях, которые если бы родились, то сейчас уже заканчивали бы школу. Потом вытаскивает букет ирисов из вазы, ломает его и засовывает в мусорное ведро. Во всех вещах важен их конец.

### **Яйцо всмятку**

Каждый раз, когда мне кажется, что неплохо бы написать мемуары, я вспоминаю, что ничего выдающегося и даже сколько-нибудь заметного не совершил, с великими людьми знаком не был, а выдающихся видел лишь издали. Раза два или три сидел за одним столом с просто известными, но они меня даже соль не просили передать.

Взять, к примеру, годы бури и натиска – вторую половину восьмидесятых и девяностые. Участником революционных событий девяносто первого года я не был, Белый дом не защищал и листовок не расклеивал. В то время я жил в провинции, в тихом научном городке Пущино, на берегу Оки и работал научным сотрудником в Филиале Института биоорганической химии РАН.

Помню ворох разноцветных надежд, с которыми тогда не расставался даже во сне. Будущая свобода представлялась мне чем-то вроде огромного книжного магазина или библиотеки, на полках которых стоят какие только ни пожелаешь книги и в этих книгах есть ответы на все вопросы. Вот тебе книги с тайными знаниями, вот десяти... нет, двадцатитомник «Настоящая история России» с полным комплектом самых секретных протоколов и записки Ленина о том, где спрятан золотой ключик от потайной дверцы в

отдельно взятую страну с уже построенным социализмом, вот стихи поэтов Серебряного века, включая тех, кто уехал после октябрьского переворота, вот «Собачье сердце» не на тонкой папиросной бумаге и перепечатанное на машинке, а на мелованной в твердой обложке с красивыми иллюстрациями, и, конечно, старинные средневековые карты с указанием островов, где зарыто золото партии. Про прилавки, полные продуктов и промтоваров, я не мечтал. Я никогда их не видел и не представлял, как они могут выглядеть. То есть я конечно догадывался, что в прекрасной России будущего можно будет без очереди и в любое время купить банку шпрот<sup>1</sup> или пачку индийского чая, не говоря о московских сосисках, которых в одни руки будут давать сколько хочешь, но дальше этих догадок...

Помню, как газета нашего городка аккуратно девятнадцатого августа девяносто первого года вышла с моими сатирическими стихами, в которых я смело (аж дух у самого себя захватывало) критиковал власти, депутатов и партию, тогда единственную. Помню, реакцию жены, которая, увидев газету со стихами и моим портретом, сказала мне все, что она думала о моих стихах, о том, как удачно совпала дата их публикации с событиями в Москве, обо мне самом... и потом не раз еще повторяла.

Помню зиму этого же года и костры, которые отдельные горожане жгли ночью и днем возле промтоварного магазина «Уют» потому, что стояли в очереди за коврами и телевизорами. Никто этих ковров и телевизоров не обещал, но кто-то пустил слух, что они будут. Не то чтобы людям позарез нужны были ковры и телевизоры – просто надо было куда-то вложить деньги, которые стремительно обесценивались. Хотя бы в ковры и телевизоры. Люди думали, что потом, когда совсем припрет, их можно будет обменять на что-нибудь такое... вроде муки, картошки, спичек и сахара. Мало кто сомневался, что скоро припрет совсем. Кстати, о сахаре. В фойе Специального конструкторского бюро биологического приборостроения помещалось что-то вроде толкучки, где талоны на сахар можно было обменять на талоны на сигареты, талоны на носки (в год на человека полагалось двенадцать талонов, то есть двенадцать пар носков в год) обменять на талоны, по которым можно было приобрести стиральный порошок, а водочные талоны на все что угодно. Были и сложные обмены. К примеру, чек-приглашение на чайный сервиз можно было обменять на несколько продуктовых талонов, один водочный и один табачный. С табаком дела обстояли со всем плохо. В теленовостях рассказывали, что в Москве, на Рижском рынке, полулитровая банка окурков стоила три рубля. Это была, так сказать, оптовая торговля, но можно было купить окурки и в розницу. В Саратове, как сообщали те же новости, их продавали по цене от пяти копеек за штуку и дороже, в зависимости от длины<sup>2</sup>.

Папа вложил все семейные ваучеры в какие-то солидные сибирские компании, обещавшие прибыль в алмазах и нефти. Папе посоветовали это сделать очень знающие серьезные люди на военном заводе, где он работал. Папа страшно обижался, когда я позволял себе неуместные шутки по этому поводу. Кроме того, он вложил деньги в очень ценные бумаги, которые обещали через пять лет после вложения получить два персональных компьютера. Папе компьютеры позарез нужны были для подрастающих внуков. Чуть позже он по совету друзей с другого военного завода в Подольске вложил деньги в фирму «Властилина». Тут ошибки быть не могло. «Властилина» арендовала помещение у военного завода, с которым папин завод вместе делал что-то такое, с помощью которого запускалось с кораблей... что надо – то и запускалось, и приземлялось в заданный квадрат на Камчатке ~~или не приземлялось~~. Папе посоветовал вложить деньги главный технолог этого завода. Папа был главным технолог своего завода. Не мог же главный технолог завода, с которым они вместе делали то, что может привести такого шороху на планете, обмануть другого главного технолога. До самой смерти папа так и не признался маме, сколько денег он потерял в Подольске. Что касается ценных бумаг, которые обещали через пять лет получить два компьютера... Тут и признаваться не нужно было.

Помню, как по выходным мы с женой брали в руки большие сумки и ехали в Москву за продуктами, а с тогда еще маленькими сыном и дочерью сидела моя мама. В Москве мы закупали что могли и часов через пять или семь, отстояв очереди за мясом, маслом, яблоками, творогом, сосисками и всем, что можно было купить съестного и на что, конечно, хватало денег, ехали домой на рейсовом автобусе. Как-то раз, на обратном пути из Москвы в Пушкино, наш автобус попал в аварию. К счастью, не в очень страшную. Дело было зимой, дорога скользкая, резина у автобуса лысая, и мы стукнулись о какой-то другой автобус или грузовик. Никто не пострадал, но ехать мы дальше не могли. Шофер каким-то образом вызвал подмогу из своей автоколонны, и к нам выехал сменный автобус из Серпухова. Ехал он медленно. Свет в нашем автобусе выключили и отопление тоже. За спиной кто-то кому-то пересказывал своими словами шахматную оперу Леонида Сергеева о матче Карпова с Корчным. На словах «Политбюро решило: надо взять!» в автобус ввалился занесенный снегом милиционер и на весь салон громко спросил: «Кто здесь Михаил Бару?» Я встал, и милиционер сказал мне: «Пройдите сюда». Я подошел к нему. В салоне все притихли. Милиционер дал мне рацию, в которой что-то хрипело, шумело и булькало, и велел доложить в нее маме, что у нас все штатно. Просто мы задержались из-за поломки автобуса. Я, сгорая от стыда, доложил и быстро сел на свое место. Не объяснять же всему автобусу, что твоя мама подполковник милиции и подняла по тревоге патруль, чтобы узнать, что с нами случилось.

Кстати, о маме. Однажды она услышала, как сестра и папа обсуждали бизнес сестры. Сестра в то время закончила с красным дипломом институт связи, поступила в аспирантуру, проучилась в ней год, бросила ее и занялась торговлей. Она могла бы еще года три заваривать чай и вязать на работе, а потом защитить диссертацию на тему о применении АСУ в связи, но вязать она не умела, чай заваривать не любила и вообще не умела сидеть на известном месте ровно, а потому занялась торговлей. Я бы мог написать бизнесом, чтобы... но она занялась торговлей самыми обычными кухонными принадлежностями вроде половников, шумовок и вилок. Наша мама милиционер относилась к торговле примерно как Катон Старший, который считал, что торговля и разбой на большой дороге одно и то же<sup>3</sup>. Короче говоря, когда мама услышала, как сестра и папа на кухне обсуждали какие-то торговые операции сестры, она сказала в сердцах: «Таких, как вы, я раньше сажала». Тут я понял, что такое настоящая гражданская война, когда линия фронта может проходить не по полю, не по лесу, не по улице, а прямо по кухне.

Не могу сказать, что в конце восьмидесятых и в начале девяностых мы умирали с голоду. Чего не было – того не было. Мы, как я уже говорил, ездили за продуктами в Москву. Кроме того, мне как химику на работе выдавали молоко, правда, синее и полупрозрачное, из которого жена делала творог и даже сыр. В Институте биохимии и физиологии микроорганизмов можно было раздобыть то ли какие-то ферменты, то ли какие-то микроорганизмы, которые превращали творог в сыр. Отвратительный, надо сказать, сыр, но есть его было можно. Тем более что другого-то и не было. Мы тогда были на все руки мастера – фильтровали, к примеру, от осадка подсолнечное масло (тогда продавалось только с осадком) и консервировали все, что консервируется. К счастью, жена умела шить и шила одежду детям, а я умел чинить ее швейную машинку «Подольск».

На работе мы при помощи специальных вакуумных роторных испарителей пытались делать сгущенное молоко, упаривая под вакуумом обычное, которое нам, химикам, выдавали за вредность. Мы даже выделили для этих целей отдельный испаритель. Яйца, правда, не насиживали. И то лишь потому, что их трудно было достать. Вот, написал «достать», а не купить. Память сама вытаскивает из запасников нужные слова. Мы тогда все больше доставали, а не покупали. Однажды дочь за завтраком ела с боем взятое в какой-то очереди яйцо. Ела так, как едят дети двух или трех лет отроду, которые хотят есть сами – машут руками, ложкой и в конце концов роняют яйцо,

сваренное всмятку, на пол. Бывший рядом сын, которому уже исполнилось лет пять, стал обстоятельно объяснять сестре, как трудно было достать это яйцо, как дорого оно стоило, и довел мать, украдкой наблюдавшую за этой сценой, своими воспитательными словами до слез. Через несколько лет, когда сын подрос, он начал спрашивать у меня, почему убили царя – «ведь при нем же все было»? Лет через пять или семь подросшая дочь (не пропускавшая ни одной передачи «Куклы») таких вопросов не задавала. Она уже точно знала, что «во всем виноват Чубайс». Так она и отвечала на вопрос, почему не вытерта пыль или не выучено заданное на завтра стихотворение.

Мы не жаловались, потому как другой жизни и не видели. Талоны на приобретение лампочек, одежды и других промтоваров мы разыгрывали на работе в лотерею. Однажды мне крупно повезло, и я выиграл туфли Salamander<sup>4</sup>. Сказать, что мне завидовали – значит не сказать ничего. Когда в следующий раз разыгрывали джинсовые куртки из вареной джинсовой ткани, меня вычеркнули из списков участников розыгрыша, поскольку я уже получил туфли и по негласным правилам должен был пропустить ход. За пропуском хода следили строго.

После того как открылись и даже отверзлись границы, народ из нашего пущинского филиала института биоорганической химии стал уезжать. Уезжали, понятное дело, не худшие. Буквально за несколько лет уехала половина списочного состава кандидатов наук. Ехали в основном в Штаты. Мой товарищ, уезжая, сказал мне: «Мишка, социализм в этой стране пустил слишком глубокие корни. Жизни не хватит, чтобы их выкорчевать».

Каждый квартал или чаще устраивались у нас отвалы. Отъезжающие были возбуждены открывающимися перспективами, а провожающие просто напивались от тоски разбавленным казенным спиртом. На каждой из этих вечеринок вспоминалась мне строчка из Хайяма «Пей! Дорога туда далека. Из ушедших никто не вернулся пока». Из того, что осталось в памяти от тех времен, чернее этих отвалов нет ничего. Уезжали большей частью генные инженеры, а не химики, очередь которых пришла позже. Уезжали люди, с которыми можно было обсудить свою работу. Люди, без которых Филиал института биоорганической химии превращался в... Из тех, кто уехал, вернулось, на моей памяти, человека три, включая меня. Уезжая куда-то в Аризону, мой коллега наклеил на стену одной из наших лабораторных комнат под самый потолок что-то вроде мемориальной доски из ватмана, на которой было фломастерами написано, что в этой комнате с такого-то по такой-то год работал выдающийся ученый... Товарищ потом приезжал в отпуск и приходил смотреть на этот кусок ватмана. Хотел его забрать, но я не отдал. Когда скотч, которым он был прикреплен, начинал высыхать, я подклеивал новый. Это ощущение того, когда вокруг уезжают, а ты остаешься... как у Байрона в Дон Жуане: «Что эта грусть неведомая значит? Ничто не умерло, но что-то плачет!» Как говорила моя бабушка: «Нашим врагам испытывать такие чувства».

Я не уезжал. Просто потому, что у меня была интересная работа, и у группы, которой я к тому времени стал руководить, были результаты. Они (результаты) были такого качества, что их брали печатать серьезные журналы в Штатах и в Европе. Смысла в отъезде я не видел пока никакого. Я уехал потом, в самом начале двухтысячных, когда все стало налаживаться. По крайней мере, нам казалось, что стало.

-----  
<sup>1</sup>Со шпротами была связана отдельная история. В девяносто втором году поехал я в Японию, на симпозиум по химии пептидов. В первый раз я пересекал границу нашей, тогда еще одной шестой, а не одной девятой, как сейчас, части суши. Все расходы по моему вояжу оплатила принимающая страна, то есть Япония. Мне туда очень хотелось попасть, и я, титаническими усилиями преодолев стеснение и неловкость, написал в оргкомитет симпозиума, рассказал о своей работе и, умирая от стыда, попросил денег на дорогу и проживание. Добрый оргкомитет (тогда все нас любили и были к нам добры)

написал мне, что работа у меня интересная и он все оплатит, а от меня требуется только правильно оформить бумаги, сесть в самолет, потом в поезд... На вокзале города Сидзуока меня должны были встретить, выдать причитающиеся командировочные и поместить в гостиницу. Я все оформил и полетел. С собой у меня были сто долларов, которые мне дал отец на всякий случай и, конечно, запас еды – мало ли как там будут кормить. Ну и сэкономить, само собой, нужно было немного японских иен, чтобы купить хотя бы настоящий японский зонтик жене и что-нибудь японское детям, родителям и сослуживцам. Запас еды представлял собой банку шпрот, банку еще каких-то консервов, пачку печенья, копченую колбасу, какое-то количество чайных пакетиков и, кажется, полбуханки бородинского хлеба. Ну, и кипятильник. Куда же без него. Сейчас даже неловко вспоминать про эти шпроты и полбуханки бородинского, а тогда... тогда тоже было неловко.

Приземлился я в токийском аэропорту Нарита. Вышли мы из самолета с моим спутником, профессором Митиным, сотрудником академического института Белка, и направились к подземному экспрессу, чтобы ехать в Токио и далее в Сидзуоку. Подходим к поезду, и Юрий Васильевич меня просит:

– Миша, если мне достанется место против хода поезда, а вам по ходу – вы не против будете поменяться? Не люблю я ездить против хода – голова кружится.

– Да, ради бога, – отвечаю. – Конечно, меняемся.

Тут как раз поезд подходит, и я вижу, что все сиденья в нем, как по команде, поворачиваются по ходу. Как потом выяснилось, их вообще можно и самому поворачивать, если едешь большой компанией. Не успел я закрыть раскрытый от удивления рот, как увидел бегущую строку с прогнозом погоды и курсами валют...

Так вот, про шпроты. Ближе к концу моей поездки\* сидел я вечером у себя в номере и пил чай. Он был бесплатный. Кормили нас как на убой. Колбасу я еще кое-как съел, но на шпроты и бородинский смотреть не хотелось. На сэкономленные деньги я купил два зонтика – жене и маме. Накупил целую сумку японских сувениров и перчатки трехлетнему племяннику. Я даже и представить себе не мог, что на таких маленьких детей делают перчатки. Смотрел я на эту сумку, полную разных вещей, и думал: как непросто живется людям, у которых все есть – и зонтики, и перчатки, и телевизоры, и машины, и книги, и свежие огурцы в любое время года. Им нужно думать о том, как жить, зачем жить, быть или не быть, что читать... Я только на мгновение представил себе, как думаю только о работе, о том, что стихи не пишутся или о том, зачем я живу... и мне стало не по себе. Шпроты (правда, после долгих колебаний) я все же не выбросил – привез домой.

-----  
\*Ближе к концу моей поездки я оторвался буквально на минуту от прослушивания докладов и участия в самых различных дискуссиях, взял чашку кофе и сел на веранде здания, в котором проходил наш симпозиум. С веранды открывался вид на гору Фудзи. Это был такой красоты вид... Если бы меня сейчас пригласили на симпозиум по химии... да на какой угодно симпозиум в город Сидзуоку, я бы, наверное, все пять дней просидел на веранде, любуясь белоснежной вершиной потухшего вулкана, но... «в горах мое сердце, а сам я внизу».

-----  
<sup>2</sup> В те годы я вел дневник и все эти подробности про талоны, чеки-приглашения и окурки взял из него. К сожалению, хроникер из меня получился никудышный – вместо того, чтобы описывать в подробностях происходящее вокруг, я заполнял страницы дневника стихами собственного сочинения, размышлизмами, переживаниями...

<sup>3</sup> На самом деле, может, и не Катон Старший, а кто-то другой из древних римлян. Со школы засело это сравнение в голове. Искал я, искал и не смог найти, кто это сказал, но не пропадать же хорошему сравнению.

<sup>4</sup> На следующий день я в них пришел на работу. Обычно мы на работе переобуваемся и надеваем халаты – что ни говори, а химия все же не физика и тем более не география. В тот момент, когда я вошел в нашу лабораторную комнату и сделал несколько шагов по направлению к своему рабочему месту, чтобы переобуться и надеть халат, кто-то (я до сих пор, спустя сорок лет, помню кто) совершенно случайно выронил из рук пятилитровую бутылку с тетрагидрофураном. Это, в принципе, малоопасный растворитель и относится к четвертому классу опасности, но в высоких концентрациях... Нам всем пришлось быстро покинуть помещение. Кроме тех, кто надел противогазы и стал ликвидировать образовавшуюся лужу. Среди этих последних был и я. В лужу я, конечно, умудрился наступить. Растворитель на то и растворитель, чтобы растворять все, что в нем растворяется. Полимерные подошвы моих новых туфель не растворились, конечно, насовсем, но шел я по полу, оставляя жирные черные следы сорок второго размера. Сказать, что я был расстроен – значит не сказать ничего.

\*\*\*

Между любит и не любит лежит огромное поле, на котором и любит, но по-своему, а не так, как тебе хочется, или любит, но не жалеет, или жалеет, но не любит, или любит, но не заботится и тут же рядом заботится, но не любит, и понять, где кончается одно и начинается другое, совершенно невозможно, или любит, но редко говорит об этом или вовсе не говорит, а только вздыхает как лошадь и все подкладывает на тарелку то конфету, то бутерброд с икрой, то колечко с камнем, то шубу норковую, то ключи от машины... или говорит без умолку, но на тарелке при этом шаром покати, или ключи от стиральной машины, или не умеет любить, но очень старается, или умеет, но не старается, или делает вид, что не умеет, а на самом деле... или любит, но не тебя, а то, что сама выдумала из головы – ты просто удачно подвернулся и совпадаешь с этим выдуманным, но не совсем, а почти, и из-за этого почти обиды, ссоры и даже скандалы с битьем посуды, или думает, что любит, а на самом деле просто не хочет быть одна; или не любит, но привыкла к тебе так, что жить без тебя не может, или может, но не хочет, или хочет, но сама не знает чего – то ли черешни, то ли в Венецию, то ли скандала с битьем посуды, или знает, но не говорит, а считает, что ты непременно сам должен догадаться, и попробуй перепутай черешню с клубникой, Венецию с Парижем, а скандал с битьем посуды... его ни с чем не перепутаешь.

\*\*\*

Хорошо художнику – выбрался на пленэр, поставил мольберт, выдавил на палитру из тюбиков разных красок, перемазался в них с ног до головы, и пиши себе на здоровье и луг с цветами, и реку, и плывущие по ней облака, и рыбака, застывшего в лодке с удочкой в руках, и купальщиц, принимающих томные позы перед тем, как войти в воду. Другое дело писателю. Он красками не отделается. Ему нужно из своих тюбиков выдавить не просто слова, а такие слова, которых никто до него не выдавливал и не абы как смешать их, а расставить в наилучшем порядке. Художник увидел землянику, взял красную краску для ягод, зеленую для листочков, золотую для солнечных зайчиков, черную для муравья, ползущего по стеблю и... а писателю этих обычных слов, которые кто хочешь написать может, мало будет. Ему нужно описать и стебелек, и муравья, и запах нагретой солнцем земляники, смешанный с запахом сосновой смолы и ягодки, приходящие после цветочков, и губы, непременно полные и чувственные, перепачканные земляничным соком, и вкус земляничных поцелуев, от которых голова... нет, две головы идут кругами, похожие на круги на воде, когда с размаху ныряешь в омут головой, и не забыть про щекотку от муравья, забравшегося туда, куда даже комар не кусал... или это щекотка от солнечных

зайчиков, которую нужно описывать не чесательными, а совсем другими, золотистыми и чихательными словами. Про рыбака и говорить нечего. У художника он может быть в самом углу картины и напоминать крошечное зеленое пятнышко с пририсованным к нему черным штрихом удочки, а писатель опишет и удочки, и поплавки, приплясывающие на волнах от промчавшегося мимо моторного катера с шумной компанией из трех беспрестанно хохочущих девиц и одного молодого человека с татуированными на мускулистом правом предплечье японскими иероглифами «мисо суп», и резиновую лодку, и сорвавшегося с крючка леща толщиной с мускулистую руку молодого человека с татуировкой «мисо суп», и кукан с двумя подлещиками величиной с ладонь и одной щучкой, и рюкзак на дне лодки, и спрятанную в нем бутылку водки, и бутерброд с салом и чесноком в полиэтиленовом пакете, и в нем же облепленную табачными и хлебными крошками шоколадную конфету «Ласточка» без обертки, которую положила ему дочь пяти или шести лет, которой он обещал поймать золотую рыбку. Да, были еще и купальщицы... Художник напишет их белые с розовым тела, распущенные волосы, красиво изогнутые руки, а писатель... писатель прибавит, что приехали они сюда на выходные с друзьями, что мужики напились и уснули, вместо того, чтобы... а один не уснул – так лучше бы спал, что завтра они свернут свои палатки и уедут в город, потому что в понедельник на работу, а через месяц или полтора одна из этих купальщиц обнаружит, что беременна, и поделится с подругой, а та, поохав, спросит ее: – Люсь, ну как тебя угораздило-то? Колька же лыка не вязал, не говоря о том, чтобы... но все это будет далеко за рамками картины и даже стены, на которой её повесят.

\*\*\*

Нынешняя власть куда как либеральнее той, которая была когда-то. Многим общественным и культурным деятелям разрешают безнаказанно молчать. Правда, еще не все культурные деятели этой возможностью пользуются, но это ничего. Научатся. Какие их годы...

\*\*\*

Нет такого писателя, который время от времени не представлял бы себе картины своей загробной жизни...<sup>1</sup> То есть не картины загробной жизни, а картины посмертной славы, пусть и в посмертной славе, как сказал Байрон, толку нет. Перед мысленным его взором вереницей проходят памятники из гранита, голуби, почетный караул, прием детей в читатели у подножий своих памятников, чтение стихов, хороводы, энциклопедии, переиздания собраний сочинений в кожаных переплетах с золотым тиснением, научные конференции, посвященные одному роману или даже одному стихотворению, километровые очереди за их книгами во всех магазинах, включая продуктовые и аптеки, мемориальные мраморные и бронзовые доски и дощечки везде, где они когда-то жили, или проходили мимо, или могли проходить, но проехали не задерживаясь на такси или трамваях, с прикрепленными к ним (к такси и трамваям, а не к писателям) мемориальными мраморными или бронзовыми досками, цитаты из произведений, написанные золотыми буквами на фронтонах, колоннах и диорамах...<sup>2</sup>

Впрочем, это всё представляют себе знаменитые писатели. Незнаменитые о таком и мечтать не смеют. Представляют себе какие-нибудь пыльные районные библиотеки, разошедшие книжные полки, потрепанные книжки и самых обычных читателей, выбирающих себе что-нибудь почитать на выходные, или перед тем как уснуть, или после того как проснешься среди ночи и заснуть не можешь до самого утра. В будущем читать художественную литературу будут в основном люди пожилые. Те из них, у кого на это будет время и желание. Чаще всего пенсионеры, а у них бессонница. Не пойдешь же

ночью в огород пропалывать картошку или поливать в саду пионы, да и суставы, артроз, радикулит, а ночью сырость... Короче говоря – от безысходности начнешь читать.

Читает, значит, пенсионер, читает, потом книгу закрывает, положит на тумбочку, ночник выключит и попытается заснуть, а перед сном представляет себе писателя – каким он был, что ел на обед, во что одевался, что говорил жене, когда нужно было задержаться на очередном литературном вечере на день или два, и чем болел. Не после этих вечеров, а вообще. Что ему жена устраивала, когда он возвращался домой. Просил ли он у нее прощения или уходил к себе в кабинет, гладил кошку и беспрерывно курил, глядя невидящими глазами на исписанный лист бумаги с незаконченным романом или стихотворением. Или не было у него никакого кабинета, и курил он на кухне или вовсе на лестничной площадке, где и ночевал на коврике у дверей. Когда он успевал писать романы – в перерывах между семейными скандалами или наоборот – семейные скандалы происходили между романами. Жил ли он за счет продажи своих книг или служил бухгалтером в троллейбусном парке, а в свободное от работы время писал стихи. О чем он думал, когда не мог уснуть. Пробирался ли тихонько на кухню и там, в углу, за кухонным столом, поедая оставшиеся от ужина слипшиеся пельмени, писал на листках школьной тетради о небе в алмазах, о неземной любви и о меренговых рулетах с клубникой или о небе, из которого бесконечно идет дождь, о земной любви и о котлетах с макаронами, или не писал, а выпивал рюмку водки, зажевывал лавровым листом, ложился спать и отворачивался лицом к обоям. Интересно, какой рисунок был на обоях, к которым он отворачивался – цветочные или геометрические узоры... Спал ли он с женой под общим одеялом или... толкала ли она его ногой, когда он храпел, или...

На этом месте писатель, воображающий себе читателя, начинает спорить с воображаемым читателем, воображающим писателя и уверять его, что на коврике он никогда в жизни не спал, что на кухне у него не угол стола, а как минимум половина, и отворачивается к стене обычно жена, а он во сне отворачивается лицом в какую-хочешь сторону. Обоев у них в спальне вообще нет, а вместо них гладкие крашенные в ядовитый фиолетовый цвет стены, на которых развешаны какие-то идиотские макраме, связанные женой. Никакие слипшиеся пельмени он по ночам не ест, а только выпьет рюмку водки и закусит куском селедки с луком, но чтобы лавровым листом... ну да, лавровым листом, чтобы отбить запах лука и потому, что у жены нюх как у легавой собаки, и не ногой она толкается, а рукой. Про котлеты с макаронами и тем более про меренговые рулеты с клубникой он никогда не писал, а писал про цыпленка табака в пряных травах, про соленые грузди в сметане, про уху с расстегаями, про блины с икрой, про мечты, настоянные на... Кстати, расстегаяи прекрасно рифмуются с мелкими пуговичками или крючками, которые обычно... Как раз в одном из своих стихотворений... и тут писатель замечает, что воображаемый читатель давно спит.

-----  
<sup>1</sup> Какая у писателей загробная жизнь... графоманам в аду дадут гусиное перо со страшным противным скрипом и велят бесконечно переписывать, к примеру, «Братьев Карамазовых» или сцену разговора князя Андрея с дубом, пока рука не отвалится, а как отвалится – черти ее приставят, и снова переписывай, а своего писать даже и думать не могли. Хорошим писателям... да то же самое, только по воскресеньям разрешают не писать, но вместо этого заставляют топить своими и чужими книгами котлы, а свои откладывая незаметно в сторонку и думать не могли.

<sup>2</sup> Диорама. Лев Толстой пишет роман «Война и мир» – это, конечно, не диорама Бородинской битвы с барабанным боем, кликами и скрежетом, но... представьте себе разбросанные в беспорядке толстовки, смазные сапоги, бархатные портянки с вышитыми на них по углам серебряными и золотыми нитками маленькими скрещенными гусиными перьями и косами, сами косы, дворовых девок, брюхатых дворовых девок, тарелку с недоеденной овсяной кашей и скорлупу от множества яиц на письменном столе, горсть оловянных солдатиков, дубину народной войны, большую седую бороду лопатой и босые

пятки, торчащие из полукруглой стены, на которой написаны водяными красками по сырой штукатурке портреты Льва Николаевича и Софьи Андреевны, одной рукой переписывающей в шестой раз сцену выяснения отношений дуба с князем Андреем, а другой бегущей в замешательстве к пруду.

\*\*\*

Ночью гремел гром, сверкали молнии и шел проливной дождь. Лежал с закрытыми глазами и представлял, что за окном горы, непроходимый тропический лес и река, полная крокодилов и пираний, или не река, а марсианский Лабиринт Ночи на краю долин Маринер, по каньонам которого ранней весной ползут на север с несмолкаемым шорохом миллионы проснувшихся после зимней спячки песчаных многоножек. Рано утром проснусь, возьму с собой собаку, сяду в лодку и поплыву по черной и рябой от морозящего дождя воде, мимо качающихся на волне оранжевых и фиолетовых открытых кувшинчиков, подстерегающих чересчур любопытных полупрозрачных мотыльков и шестиногих головастика, усыпанных гроздьями то и дело мигающих перламутровых глаз. Подвесной мотор лодки тархтит убаюкивающе, и за место на его теплом кожухе грызутся две похожих на бипланы стрекозы, с огромными жвалами, усеянными острыми треугольными зубами. Вдали, у самого горизонта, на уходящих в стратосферу склонах потухшего вулкана беззвучно сверкают зеленые молнии. Воздух пахнет мокрым ржавым железом, в шевелящихся зарослях растущей по берегам высокой остролистной травы что-то шуршит, свирепо взрыкивает, стонет, вздыхает и кто-то долго, пронзительно пищит нечеловеческим голосом и будет пищать, пока в него не кинешь тапком или не придавишь подушкой.

\*\*\*

Задумался о будущем электронных книг. Наверное, книга, кроме автора текста, будет иметь своего режиссера, звукорежиссера, аниматора и программиста. Со звукорежиссером все просто – там, где герой или героиня идут по берегу моря, их прогулку будет сопровождать шум прибоя. Там, где Холмс и Ватсон перепрыгивают с кочки на кочку, пробираясь по Гримпенской трясине, – там, конечно, их сопровождает леденящий душу вой. Ну, а где два рыцаря мчатся навстречу друг другу верхом с копьями наперевес и размахивают двуручными мечами – там будет слышен топот копыт, звон мечей, бой барабанный, клики, скрежет, а для читателей постарше предсмертные хрипы, бульканье крови и мольбы о пощаде. Про любовные романы и говорить нечего.

Кстати, о крови. Вот тут пригодится анимация. Буквы во фразе и сама фраза «Темная кровь толчками выплескивалась на асфальт из его перерезанного горла» должны краснеть и оплывать каплями вниз по белой странице<sup>1</sup>. Такая книга перед сном, когда уже выключен ночник... или читаете вы, к примеру, «Унылая пора! очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса...», а за буквами по осеннему небу бегут серые тучи или сеется мелкий дождь, и время от времени вдруг откуда-то с самого верха страницы падает желтый или красный кленовый лист и медленно кружится, кружится... или пробивается сквозь тучи редкий солнца луч. Само собой, звукорежиссер добавит и шум дождя, и свист ветра, и звуки, с которыми гусей крикливых караван тянется к югу, и даже простуженный кашель. Последние, наполовину пустые, страницы рассказов, повестей или романов тоже будут анимировать. Куда-нибудь за горизонт или в горы будет уходить главный герой или героиня, или оба они уедут на синем троллейбусе, или улетят на ракете к чертовой матери оставлять свои следы на пыльных тропинках далеких планет, кто-то крикнет «горько», а у кого-то по усам будут течь мед с пивом, и на страницу натечет целая лужа.

С запахами все сложнее. Сначала-то я придумал маленькую коробочку с генератором запахов, которую можно прикрепить поближе к носу во время чтения. Она

будет у себя внутри смешивать с помощью микро- или даже наномешалки разные ингредиенты, и в то самое время, когда главный герой дарит главной героине букет роз, а она, как это принято в любовных романах, утыкает в него счастливое лицо, вы почувствуете запах роз, крема для лица, духов... Все это очень сложно и вряд ли технически осуществимо. Запахов существует море, и не одно, и коробочка может превратиться в огромный контейнер, который займет целую комнату, да и качество таких смесей будет оставлять желать лучшего. Мне кажется, что нейропрограммисты, которые появятся в недалеком будущем, а может, уже и появились в секретных лабораториях секретных организаций, напишут специальные нейропрограммы, с помощью которых можно будет убедить наш мозг в том, что он ощущает запах роз, или ветчины, или лошадиного пота, смешанного с запахом гаванских сигар. К тому времени электродов не нужно будет вживлять в мозг при чтении. Все аккуратно и целенаправленно войдет в голову каким-нибудь беспроводным способом. Тут, конечно, открывается такой простор, от которого дух захватывает. Такие нейропрограммы могут убедить мозг в чем угодно. Представим себе на мгновение, что главный герой прыгает с парашютом или плывет по морю, а его догоняет акула, и он чувствует... или наоборот – в этот момент нейропрограмма убеждает твой мозг в том, что ты акула и тебя будоражит запах крови, идущий от раны на его левой ноге. Про любовные романы и говорить нечего. Впрочем, это уже очень далекое будущее, при котором и сама книга с ее текстом будут, наверное, не нужны. К тому времени мы все одичаем, покроемся шерстью с ног до головы, и нас будет заботить только одно – где достать денег, чтобы купить такие нейропрограммы, чтобы без всяких книг...

-----  
<sup>1</sup> Как книга узнает, что вы читаете именно эту фразу и буквы с фразами должны краснеть и оплывать? Очень просто. Книга будет следить за движениями ваших глаз, за тем, как вспотели кончики пальцев, которыми вы держите планшет или телефон, на сколько сотых долей градуса изменилась их температура, как участился ваш пульс и поднялось ли давление. Короче говоря, книга тоже будет вас читать, и в нужных местах, чувствуя, что вы слишком волнуетесь, просто отключится и предложит подождать, пока давление придет в норму. Наверное, найдутся умельцы, которые смогут отключать все эти функции слежения, но такие взломанные книги будут стоить дорого и купить их можно будет только с рук.

